

## МАРК БЕРКОЛАЙКО

### ВИКА И САВА

*О милых спутниках, которые наш свет  
Своим сопутствием для нас животворили,  
Не говори с тоской: их нет,  
Но с благодарностию были.*

*Василий Жуковский*

Вики, – увы! – нет.

Сава, – к счастью, – есть!

Они – братья; Виталий Колмановский, Вика, был старше Савелия, Савы, на пять лет.

В Москву, на недавнее восьмидесятилетие Савы, слетелись из Баку, Израиля, Штатов, Франции, Шотландии; съехались из Петербурга, Воронежа и других, сравнительно, по российским меркам, близлежащих городов, и почти в каждом тосте, прозаическом или стихотворном, упоминался Вика, несколько лет назад умерший в Калифорнии легкой смертью угодного Богу человека: у калитки своего дома улыбнулся и грузно осел вдруг всем телом.

... Теплоход, он же ресторан с панорамными окнами, шел по Москве-реке. Набережные и фасады домов сверкали так, что этого количества люксов хватило бы на свечение Млечного Пути и еще нескольких Галактик поменьше; Кремль, ослепляя пряничной яркостью стен и башен, блеском куполов и крестов, старался казаться дружелюбным, однако получалось это у него не вполне – в конце концов, крепость есть крепость.

Сава и мы, его гости, заняли два массивных круглых стола в центре зала. И все вроде бы располагало, только вот подарки были вручены на вчерашнем банкете, тогда же были сказаны рвавшие из глубины души слова, тогда же отсмеялись заранее заготовленным шуткам – поэтому, наверное, в этот вечер на реке, в дорогом ресторане, общение свелось к обмену вежливыми репликами.

Но так было до той минуты, пока «вчерашний юбиляр» не обратился к приехавшему из Баку давнему своему другу, замечательному сценаристу, публицисту и литературному критику Интигаму Касумзаде, который сам себя называет самым худым главным редактором самого толстого в мире литературного журнала.

Издающегося аж с 1923 года, а в 1953-м обретшего имя весомое и обязывающее – «Азербайджан».

И обратился Сава с просьбой совершенно неожиданной:

– Интигам, почитай газели Физули!

## **I. КВН бакинского разлива.**

Весной 1966 года в Баку впервые состоялся вечер КВН: встречались команды, кажется, мединститута и, что уж точно, университета, в которой мой школьный друг Эмин Алиев был капитаном, а ваш покорный слуга, – очень условно говоря, – автором. Условность заключалась в том, что никакого представления о специфике жанра эстрадных миниатюр у меня не было. Однако брался я за дело с пресловутой наглостью неофита, но то, что в результате получалось, можно было оценить дохлой «тройкой», не более.

На «пятерку» же, которой были достойны работы признанных кавээнзовских авторов, москвичей и одесситов, в Баку, – был я уверен, – не способен творить никто.

Однако так не думал Юлик Гусман, в котором его продюсерские качества только-только начали тогда просыпаться.

В Воронеже, узнав, что я поучаствовал «в рытье котлована» под фундамент бакинского КВН, меня обычно спрашивали, знаком ли с Гусманом, на что следовало небрежное:

– Еще бы! Он пел для меня у дверей сортира.

Писателями замечено, что меньше всего люди верят тогда, когда им говорят чистую правду – это я к тому, что и мне не верили, не могли даже себе представить, будто Юлий (так и хочется исправить на «Гай Юлий») даже в легкомысленном своем детстве был способен спускаться с таких высот в такие низины. Поэтому опишу все подробно, дабы в воспоминаниях о докторе Гусмане, провидчески угадавшем, что отнюдь не врачеванием будет жив и славен, промелькнула и эта деталь.

Чтобы попасть в Баку из Нальчика, в котором бакинцы спасали себя и детей от июльско-августовской жары, а семейные бюджеты от дороговизны Кавминвод, нужно было доехать до станции Прохладная и там, глубокой ночью, успеть впихнуться в проходящий поезд.

Проспав почти до полудня, штурмовавшие встали все одновременно, и очередь в единственный вагонный туалет (второй проводница уже вымыла и открыть отказалась) выстроилась длинная. Я оказался последним, ожидание грозило быть долгим и скучным, как вдруг не замеченный мною во время ночного штурма плотный, круглолицый мальчишка уступил свою очередь двум стоящим между нами дамам, объяснив это тем, что давно меня не видел и хочет поговорить.

Что ж, он не врал, поскольку действительно не видел меня с самого момента моего рождения, однако, быстро и напористо восполнив этот пробел, выяснил, где живу, в какой школе учусь, в какой класс перешел. Узнав, что всего-навсего в пятый, а не в седьмой, как все приличные люди, заявил безапелляционно:

– Тогда ЭТУ песню ты, конечно, не знаешь!

Тут как раз первая облагодетельствованная им женщина скрылась в купе, вторая щелкнула задвижкой двери туалета, и мальчишка, так и не удосужившись назвать свое имя и, тем паче, узнать мое, запел: «В Кейптаунском порту, с пробоиной в борту, «Жанетта» поправляла такелаж...».

Да, я был мал, во всяком случае, меньше него.

Да, песню не знал.

Но мог бы, будучи ребенком начитанным, сообщить, что английскому паруснику негоже называться французским женским именем, что, имея пробоину в борту, команда в первую очередь займется ею, а не такелажем ...однако не успел ничего сказать, ибо был захвачен темпераментом исполнителя, умудрявшегося не столько петь, сколько гримасами и жестами доносить до моего половозреющего сознания все пикантные нюансы текста.

Дама пробыла в туалете столько времени, сколько понадобилось мальчишке на то, чтобы допев, свершить затем несколько танцевальных па, придавших удалой еврейской мелодии характер поминовения четырнадцати французских моряков, павших в схватке с палившими из браунингов моряками английскими.

Господи, а я ведь даже не успел поблагодарить его за роскошное представление! – он скрылся в сортире, а, выйдя из него и услышав из срединного купе призыв: «Юлик, ты придешь, наконец, завтракать?!», стал настолько значителен, словно бы оправившись, умыв физиономию и почистив зубы, приобрел вдруг то положение в свете, которое категорически запрещает замечать такую мелюзгу, как я.

Итак, весной 67-го Гусман на всех парах устремился к своей всесоюзной славе, но я, сосредоточившись на математике, знал об этом лишь понаслышке, из рассказов тех друзей, которые этому стремлению хоть как-то способствовали. В частности, когда бакинская команда ездила приветствовать участников встреч, не транслируемых в эфире, однако привлекавших внимание редакции молодежных программ Центрального телевидения, в ответ на вопрос: «Кто пишет?» впервые услышал о Вике и Саве.

... Закончив университет, осенью 67-го уехал преподавать в Курский пединститут, планируя сдать там за год экзамены кандидатского минимума по философии (марксистско-ленинской, разумеется) и английскому, а затем поступить в аспирантуру в Воронеже.

Снимал в Курске комнату в частном доме на улице Ломоносова, читал лекции, вел занятия, готовился к экзаменам и как-то раз, по-моему, в апреле 68 года, добродушная моя хозяйка, страстная телезрительница, сообщила, что в субботу «азербейджанцы» играют с командой точно Куйбышевского (Самарского), и кажется мне, что политехнического, института.

Обязан покаяться в покрытом полувековой пылью грехе: полный отказ ради математики от какого-либо участия в кавээновских бакинских делах, год назад давший совершенно безболезненно, после слов хозяйки отозвался жгучей ревностью того сорта и накала, что испытывают отлученные «на веки вечные» от чего-то нестерпимо манящего... будто бы пока я продирался через ленинский «Материализм и эмпириокритицизм» и энгельсовскую «Диалектику природы», кто-то энергично ухлестывал за судьбою мне назначенной женщиной и не то, чтобы завоевал ее, но уж меня, во всяком случае, малейших шансов лишил.

В Курске я жил и работал размеренно и спокойно – так, что хоть вой от тоски... а в это время бакинцы, мои друзья и друзья моих друзей, прорвались в сверкающий мир, куда мне теперь уже доступа не было. И тут, неожиданная для меня самого, а потому особенно маленькая и подленькая зависть подсказала спасительный вариант: а что, если команда Баку проиграет?!

Проиграет – и это будет мне «в жилу», поскольку выяснится, что я оказался дальновиднее всех: то есть, не только не потерял времени на бесплодные попытки взлететь, но и выиграл его, блестяще сдав экзамен и поразив комиссию прочтением «от корки до корки» как упомянутых выше трудов, так и ленинских «Философских тетрадей», которые шли в списке дополнительной, а не обязательной к изучению литературы.

Как сейчас помню, в билете был вопрос о взглядах Аристотеля. Бесконечно виноват перед великим греком: знал лишь, что он был учителем Александра Македонского, сформулировал важное для математики «правило исключенного третьего» и критиковал воззрения Платона, о которых я тоже не мог бы сказать ничего внятного. Однако подземелье моего незнания стало выглядеть на экзамене сияющим чертогом Знания – с помощью всего-навсего, одного-единственного, записанного Лениным на полях тетради замечания к витиеватой мысли древнего мудреца.

Понять мысль мне мозгов не хватило, однако замечание, в силу его лапидарности, запомнилось навсегда.

Вот оно: «Запутался человек!».

Мысленно переносюсь в Курск, на улицу Ломоносова, в комнату хозяйки.

Вот телевизор, а у серванта, стоящего сбоку-сзади от него, задняя стенка сделана из зеркального полотна. На нем, – в причудливом соседстве с отражениями бокалов, рюмок и стопок; со слегка искаженными размерами, – видно все, происходящее на экране. Это позволяет время от времени сидеть вполоборота к телевизору, чтобы не так хорошо было слышно комментирующее бормотание дородной пожилой женщины: «Ага! Да! Правильно!», которым сопровождает все нравящееся, или тяжелое и громкое сопение в те минуты, когда действие ей не по нутру.

И вот вам наилучшая характеристика сравнительной силы команд: почти все выступление бакинцев идет под одобрительные возгласы, почти все выступление самарцев – под сопение.

Однако не знаю, как ей, а мне из всей игры запомнились лишь эпизод разминки и один из конкурсов, кажется, музыкальный.

Требовалось, – напевая и/или пританцовывая, – прокомментировать ситуацию, описанную в одной из тех воскресных газет, которым позволялось развлекать читателей чем-нибудь забавным, курьезным и «одной-бабой-сказанным». В заметке повествовалось о том, как, отдыхая в каком-то украинском селе, будущий двукратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Леонид Жаботинский увидел, что на смерть перепуганная доярка убегает от сорвавшегося с привязи разъяренного быка. Богатырь бросился спасать женщину и почти сумел повторить один из подвигов Геракла, не просто остановив двухцентнерового бугая, а буквально швырнув его на землю.

И вот, бакинцы спели на известный мотив из фильмов Чаплина всего шесть строк, которые так удобно «легли на слух», что я запомнил их на всю жизнь:

*Весенним утром ярким  
Бык гнался за дояркой,  
Но Леня Жаботинский подверг его толчку.  
И с первой же попытки  
Откинул бык копытки –  
Что можно чемпиону, того нельзя быку.*

Повторяю: запомнил молниеносно; более того, все сотрудники кафедры математического анализа Курского пединститута, поздравляя меня с победой команды Баку, говорили, в основном, о жгуче-южном обаянии Гусмана, но непременно прибавляли: «Да, а песенка эта... откинул бык копытки... что можно чемпиону, того нельзя быку... здорово!».

Обратите внимание – не смешно, а именно «здорово»! В услышавшем нечто подобное зале не случается обвал, не грохочут хохот, гогот и рогот... то самое «Бру-га-га!!!», что так хорошо описано Булгаковым в «Жизни господина де Мольера».

Однако, услышав первые две строчки, мы «видим» взбудораженную весенними токами гору мышц и уже невозможно не ответить улыбкой на легко прочитываемый, однако не выпирающий подтекст – и поверьте бывшему автору, придумавшему когда-то несколько реприз, на которые зал отвечал «Бру-га-га!!!»: по-настоящему запомнилось именно такое, а то, что, казалось, обречено было стать вечнозеленым «мемом», чаще всего оказывалось продуктом скоропортящимся.

Сделанное в 68-м «автором Викой-Савой» наполнено многослойным смыслом: и то, что бык подвергнулся именно толчку, а не, скажем, рывку, и то, что удалось это

с первой же попытки, отсылало к подлинной битве подлинных гигантов, Жаботинского и Власова, на Олимпиаде в Токио, когда Леонид Иванович, проигрывая по результатам жима и рывка уже уверенному в конечном успехе Юрию Петровичу, в третьем, последнем подходе толкнул фантастические по тем временам 217,5 кг и «отобрал» у соперника золотую медаль, которую тот уже чувствовал на своей груди. Ударная же последняя строка взывала и к лестному для Жаботинского сравнению с Юпитером, в образе быка похитившем прекрасную Европу, и к тому, что именно «манковость» доярки послужила причиной столкновения двух самцов, в котором хорошо натренированные человеческие мышцы одержали победу над природными бычьими.

Понятия не имею, как происходила работа над этим маленьким шедевром, но видится почему-то, что Вика, быстро все придумавший, возмечтал расслабиться, но не тут-то было: под неумолимым давлением «редактора Савы» долго еще все дожидаясь, «достругивал», чистил и доводил до блеска.

Что же до эпизода разминки, то здесь понадобились не классные авторы Вика и Сава, здесь «пригодился» Владимир Портнов, прекрасный бакинский поэт, чьи переводы из Бодлера, Верлена и Жозе-Марии де Эредиа были опубликованы в одном из томов обширнейшей советской «Библиотеки всемирной литературы».

«Но что такой человек мог сделать полезного для команды, очевидно призванной «эксплуатировать» свою кавказско-закавказскую специфику?» – удивятся многие поклонники современного КВН. «Такой тогда был КВН, – отвечу я, – и такими тогда были Кавказ-Закавказье!».

Задание разминки явно предполагало наличие у членов команд недюжинной эрудиции: произносилось начало чего-то малоизвестного из области «веселого и находчивого» (уж никак не расхожие фразы из Ильфа и Петрова, Булгакова, Шварца или репертуара Аркадия Райкина, разумеется!), а соперники обязаны были либо завершить цитату, либо придумать какое-нибудь свое смешное продолжение.

Капитан куйбышевцев сказал: «И ха-ха-ха, и хи-хи-хи...», улыбнулся с видом «Ага, попались!» и пошел к кучке своих игроков. Однако не успел он дойти, как у микрофона оказался Портнов:

*Люблю я парадоксы ваши  
И ха-ха-ха, и хи-хи-хи.  
Смирновой штучку, фарсу Саши  
И Ишки Мятлева стихи.*

И после эффектной паузы: «Лермонтов. Из альбома Софьи Николаевны Карамзиной».

Бедные куйбышевцы-самарцы! Они и не подозревали, что в команде «каких-то там бакинцев» найдется человек, знающий наизусть всю русскую классическую поэзию! Они смогли тогда только сказать покорно: «Ответ верен» – и горько потом сокрушались, что оказались так самоуверенны и не подготовили «запасной вариант».

Успехи той бакинской команды были связаны и с другими авторами, несомненно, выдающимися, однако, пусть буду сочтен пристрастным, – не помню из сочиненного ими ничего, кроме уже упомянутой «Брижиты без Барды».

Да и та, впрочем, всплыла в памяти только потому, что эпизод, в котором Юлий Гусман так артистично выдает «на гора» твист, процитирован в хорошем фильме Александра Митты.

## II.КВН воронежского брожения

Неправильно было бы утверждать, что я пришел в команду Воронежского инженерно-строительного института, нет, меня буквально втащила в нее, – свою маленькую, изящной, но удивительно крепкой и властной ручкой, – Нина Степановна Петросьянц. Команда к тому времени набрала хорошую форму и, разгромив в двух зонах подряд всех местных соперников, захотела блеснуть на всесоюзной арене... Это если излагать по-журналистски, в стиле парадного очерка. А если «по жизни», то Нина Степановна, сумев убедить молодежную редакцию Центрального телевидения в нашей дееспособности (о, она и Мефистофеля заставила бы покаяться и уйти в монастырь!) заявила нас на участие в сезоне 1970-71 годов.

Теперь нужно пояснить, что скрывалось за местоимением «мы».

Авторов, умеющих писать тексты на уровне ЦТ, не было.

Ярких, фактурных актеров было двое: оба с подвижными, по-гоголевски носатыми физиономиями, пригодными для создания комического эффекта.

Я также был носат, но по-другому, несколько зловеще, а потому комического эффекта не создавал. Зато у меня получалось говорить громко и членораздельно – увы, далеко не вся команда была на это способна.

Тем не менее, Нина Степановна считала, будто каждый и каждая из нас обладают яркой, запоминающейся внешностью – по крайней мере, работавший с нами выдающийся оперный режиссер Семен Александрович Штейн, «дядя Сеня», бывший для нее авторитетом непререкаемым, говаривал снисходительно, что пока мы стоим в шеренге, ничего не произнося, а также не пытаюсь петь и танцевать, то зрители вполне готовы минуту-другую нам симпатизировать.

Однако она, эта симпатия, по мнению дяди Сени, сменится отвращением, стоит лишь нам заговорить, запеть или затанцевать, то есть начать делать что-то, без чего подобная шеренга через некоторое время становится похожей на тяжело молчащий почетный караул.

Поэтому изобретательный режиссер, наряжая нас то во фрак и концертные платья, то в сверкающие галунами подобию морских кителей, то в куртки монтажников – брезентовые, увешанные страховочными цепями, которые придавали нам облик веселых и находчивых каторжан, строил мизансцены, одну затейливее другой, подвывая тем самым стремление зрителя уловить во всем происходящем хоть какой-то смысл.

Кроме того, на сцене должно было также находиться что-нибудь экзотическое и монументальное, – воздушный корабль, например, – из которого мы горланили нестройным хором: «Вот для ХАИ – воздушная подушка, вот для жюри – воздушный поцелуй!», и это сходило за удачную репризу.

Я пишу все это, посмеиваясь, однако же готов растроганно заплакать, вспоминая лицо Нины Степановны во время наших выступлений. Она смотрела на нас не как зритель – нет, так на утренниках в детских садах матери следят за своими детишками, и если те тарбанят заученный стишок без запинки, то Табаков, Хабенский или Алиса Фрейндлих не смогли бы это сделать лучше, ну, а если молчат, забыв слова, то не из-за бестолковости своей, а потому, что настало время для знаменитой на весь мир «мхатовской паузы».

И теперь, по прошествии пяти десятков лет, я понимаю, что выигрывали ли мы или вполне достойно, без позора, проигрывали, получалось это у нас только потому, что она восхищалась нами именно так: априори, по факту нашего появления в ее жизни, по факту нашего рождения такими, какими уродились.

Как же это важно, когда тобою так восхищаются! Как это страшно, когда восхищающиеся уходят, а ты остаешься один на один с миром, у которого возможностей и желания оплевать тебя всегда в достатке!

И еще потому у нас получалось, что с благословения Нины Степановны, осенью семидесятого года, я обратился к своему школьному другу Александру Гричу, – замечательному поэту и переводчику, который потом, за годы работы, донес до русского читателя шедевры Гусейна Джавида, Расула Рза, Мирза Алекпера Сабера, Микаила Мушфига, Фикрета Годжа и других классиков азербайджанской литературы; не говорю уж о его стихах, многие из которых помню и люблю, – и через него попросил о помощи Вику и Саву.

Они откликнулись не сразу: какое-то время им понадобилось на то, чтобы найти максимальное число людей, знающих моих родителей, сестру, давно уже, впрочем, живущую в Ленинграде, меня самого... это понадобилось не потому, что они не доверяли Сашиним рекомендациям, – просто еврейская традиция, в Баку возведенная в ранг культа, требовала поиска максимального количества связующих нитей и ниточек, ибо если таковых связей мало, то партнер не станет тебе близок, а если партнер не станет тебе близок, то зачем нужен такой партнер?

Но общих знакомых оказалось достаточно.

Их оказалось даже более, чем достаточно.

Настолько более, что для первого «Здравствуйте!» в Баку к Колмановским в качестве друга их потенциального друга (то есть, меня) поехала Нина Степановна. Она влюбилась в Вику и Саву разом и сразу, а они сразу и разом влюбились в нее так, что роли поменялись и через три недели забирать текст написанного братьями приветствия для команды ВИСИ приехал в родной свой город уже в качестве друга Нины Петросьянц.

А еще, друга Саши Грича; а еще – любимого племянника тети Наны, в чьей квартире на Полухина снимала комнату приехавшая поработать в Баку рыжеволосая врач из Саратова, за которой бурно ухаживал холостой сердцеед Сава... а еще, а еще, а еще...

В общем, к моему приходу Тамара, жена Вики, испекла бакинское печенье «Му-таки» с ореховой начинкой, которое так нравилось «чудесной Нине», а когда, съев один рогалик и облизнувшись, я поведал, что вкус божественный, однако моя мама «для кислинки» добавляет в начинку толику кизилового варенья, то хозяйка понеслась на кухню, дабы испечь еще порцию, теперь уже «По рецепту мамы Марика».

Ох, мы с Викой и наслаждались!

Господи! Ведь ему тогда не было еще и сорока, и он был раза в два массивнее меня, двадцатипятилетнего! А теперь мне семьдесят три, и я толще его тогдашнего...

Но не стану, согласно мудрому совету замечательного Василия Андреевича Жуковского, говорить с тоской: «Вики нет».

Скажу с благодарностью: «Был».

Ох, мы с ним и уплетали! Его дети, Леня и Маша, с шумом ворвавшиеся в кабинет, получили по одному рогалику вкупе с добрым отцовским наставлением: «Много сладкого – вредно!». Саве было поручено читать полностью готовый текст приветствия, все десять машинописных страниц; он не посмел послушаться старшего брата, которого боготворил, однако вложил в чтение всю свою неприязнь ко мне, время от времени бормотавшему «Класс...» – скорее, относительно очередного рогалика, нежели относительно очередной удачной репризы.

Сава! Теперь я могу сказать тебе то, что постеснялся произнести тогда: «Как только после первой ремарки мне стало ясно, что мы, члены команды, будем наряженными в блейзеры капитанами воздушного корабля, все, кроме песен, потеряло для меня значение, поскольку дядя Сеня, выдающийся оперный режиссер, увидев мысленно разноцветные бирюльки ярких мизансцен, нанижет их на то, что называет нитью непрерывного внутреннего действия. При этом он с присущим ему чутьем выбросит самое смешное, потому что смех может вывести зрителя из состояния завожженности подобно тому, как выводится из транса кобра, если звуки флейты

прерываются незапланированной икотой факира. И еще, Сава! Вам с братом придется пережить шок, когда написанную вами финальную песню дядя Сеня переместит на место начальной, а начальную вообще выбросит. Но это будет потом, а пока ешь «мутаки», Сава!».

Впрочем, последнее можно было и не говорить: Вика оказался заботливым братом и, когда на блюдах осталось по три-четыре рогалика, сказал: «А это Савику!».

А теперь еще одно признание: в тот вечер я начал постигать технологию того, как делаются тексты для КВН, эстрады, театров миниатюр, как пишутся короткие рассказы. Впервые услышал термины «ход», «репризный ряд», «подводка», «ударная реприза». Понял, какую роль может играть игра слов и созвучий, узнал, по каким «лекалам» конструируется шутка, как она «доводится» и «дожимается».

Все это, что теперь назвали бы отличным мастер-классом, было преподнесено мне щедро и увлеченно, в ответ на один простой вопрос: «А как у вас получается писать вдвоем?».

Потом, в течение нескольких ночей до игры с ХАИ, Сава и приехавший к нему в подмогу Саша Грич выжимали из нас, – Гриши Розенберга, Толи Шулика, Наташи Ратнер (вскоре тоже ставшей Шулик), меня, других ребят – все соки. Мы получали уроки, как делать конкурсы и готовиться к разминке, как подстраивать репризу под внешность произносящего ее, под его манеру говорить, под шепелявость, дрожание голоса, заикание, наконец...

Понятно было, что приветствие, скорее всего, сведется к ничьей, а домашнее задание, которое для ХАИ написал уже хорошо тогда известный Аркадий Яковлевич Инин, мы безнадежно проиграем... однако оставались конкурсы, много конкурсов, где было место и импровизации, и экспромту, – и Сава с Сашей, как опытные тренеры, подвели нас к вечеру игры отвязанными, раскованными и злыми.

А харьковчане – о, они на огромной сцене ленинградского дворца «Юбилейный» были свежи и вальяжны; более того, они, ничего еще не поняв, оставались такими и после разминки, на которой мы их сделали классически... потом, наконец, поняли, но было поздно: конкурс за конкурсом мы накапливали преимущество, и соперников наших не спасли даже «плюс два очка» за домашнее задание, действительно, блестящее – Инин есть Инин.

Одно время Аркадий Яковлевич привлекал нас с Гришей для работы в авторских группах других команд. Мы делали конкурсы, если честно, совсем небольшие, а если максимально честно, то всякую мелочевку, – но, во-первых, платили и за это, а, во-вторых, такая работа, наряду с написанием часто публикуемых («Литературная газета», «Юность», «Крокодил») коротких рассказов, давала нам возможность «расписать руку» и познакомиться с очень талантливыми людьми. Наибольшее впечатление произвел на меня Ярослав Харечко, у которого, помимо прочих замечательных достоинств, обнаружилась потрясающая способность «говорить стихами». Так однажды получилось, что только нас двоих из всей авторской группы нашел в курилке телетеатра капитан «подшефной» команды, не помню даже, какой. Он сообщил, что на конкурсе капитанов его и соперника попросят прокомментировать рисунок, на котором изображен невероятно широкоплечий мужчина с невозможно маленькой головой. Не успел я договорить, что уместно будет переиначить известную фразу: «Словам должно быть просторно, а мыслям тесно», как Слава быстро и без запинки «сформулировал»:

*А молва, она упорна,  
Все твердит нам, как известно:  
Пусть в плечах будет просторно,  
Лишь бы мыслям было тесно.*



Честное слово, в эту минуту я поверил, что Импровизатор, описанный Пушкиным в неоконченной повести «Египетские ночи», действительно мог существовать.

Инин сказал мне как-то, что наша команда осталась в памяти кавээновского бомонда как мастера конкурсов.

Что ж, таков был наш стиль, привитый нам Викой, Савой и Сашей, – и не могу сказать, что это был худший из демонстрируемых на всесоюзной кавээновской арене стилей!

Кроме того, – так уж судьбе оказалось угодно, – команда КВН ВИСИ, о которой мало кто сейчас вспоминает, оставила-таки памятные зарубки в многолетней истории Клуба.

В 1972 году Великий Инквизитор Суслов... нет, лучше так: инквизитор Суслов, мнящий себя великим, вместе с Лапиным, Председателем Госкомитета по радио и телевидению, обсудили запись парада-алле участвующих в новом сезоне команд и решили, что с КВН «пора заканчивать». В перечне того, что показалось им особенно крамольным, мы, скромные провинциалы, упомянуты были дважды.

Во-первых, верный сталинец Суслов указал на бороду Толи Шулика и заявил, что это есть искажение облика советской молодежи.

Во-вторых, верный суловец Лапин назвал нашу с Гришей репризу: «А в этих домах новоселы живут как нельзя лучше: одни живут лучше, другие – как нельзя!» очернением советской действительности.

Согласитесь, что исказить и очернить одновременно в то время удавалось далеко не всем.

Зато, когда в 1986-м КВН возродился, то первым прилетом этой «птицы Феникс» на телеэкран была трансляция встречи команд КВН Московского и Воронежского инженерно-строительных институтов. И зал издал первое после четырнадцатилетнего перерыва «Бру-га-га!!!», а потом разразился овацией в ответ на репризу, прозвучавшую в выступлении именно нашей команды (на сцене был, разумеется, уже совсем другой, гораздо более сильный, – спасибо Нине Степановне! – актерский состав).

В этот момент я представил себе, как подпрыгнул в аду инквизитор, как эрзал перед телевизором отправленный в 1985 году в отставку Лапин – и мне стало радостно. Но плохая, злобная то была радость, поэтому, бросив поминать всяких там, подумал о братьях Колмановских.

И мысленно поблагодарил их за науку.

А сейчас с превеликим удовольствием делаю это письменно, то есть, почти вслух.

И все же Вике и Саве однажды удалось заставить дядю Сеню поверить в волшебную силу слова.

А дело было так: победив команду ХАИ, в полуфинале мы встречались с командой Белорусского государственного университета – фаворитом, который, как заранее решила Молодежная редакция ЦТ, должен стать чемпионом сезона.

В домашнем задании дядя Сеня выстроил мизансцену, в которой наш Витя Литвинов, обладатель удивительно красивого, лемешевского типа, лирического тенора, должен был петь «нечто» на мелодию арии индийского Гостя из «Садко». Вечер выступления неумолимо приближался, а все предлагавшиеся братьями варианты этого самого «нечто» требовательный режиссер отвергал. До выступления осталась всего одна ночь, традиционная «урожайная» по части подготовки к разминке, конкурсу капитанов и прочему «экспромтному», – поэтому мы отправились в одно «ночное», а братья в другое, ворча, что отныне, если услышат сладкое «Не счесть алмазов в каменных пеще-е-е-рах», непременно начнут биться в падучей.

... Сравнительно раннее утро, последний, уже «костюмный» прогон, а для телевизионщиков – так называемая трактовая репетиция.

Мы, непроспавшийся после ночных бдений миманс, размахивая опахалами, изображаем, наверное, баядерок или, возможно, одалисок; на авансцену выходит выспавшийся, невозможно красивый и абсолютно русский Витя, похожий на былинного Садко, выигравшего у индийского Гостя в «очко» всё его пышное одеяние и все фальшиво яркие драгоценности... и... пауза...

– Текст, вашу мать! – орет дядя Сеня. – Хрен с ним, любой, но текст!!!

И Витя, подглядывая в бумажку, которую ему только что подsunул за кулисами Вика, заводит:

*Я пил вишневый сок на Фудзияме,  
В бразильской сельве посещал сельмаги,  
И мумий в-и-и-и-дел я в гробу-у-у...*

Ржем мы, то ли баядерки, то ли одалиски; ржут телевизионщики; ржут минчане, которые следом за нами должны были прогонять в тракте свое домашнее задание, но самое главное, впервые на моих глазах, ржет дядя Сеня.

И, чуть повизгивая, совсем по-детски повторяет: «Видел мумий в гробу... Это же он про... Это же он про...».

Он не решается договорить, про что это, однако все и так всё понимают, поскольку километрах в трех от телетеатра, начавшись у Александровского сада, тянется к Усыпальнице терпеливая очередь, и замерзающие люди совсем тихонько ропщут, когда и без того медленное продвижение сменяется долгим «стоянием».

А случается это «стояние» тогда, когда в подземелье спускаются забредшие в Москву за очередным подаванием делегации коммунистических или рабочих, или крестьянски-партизанских партий. Они тоже не прочь построить социализм, однако даже в старательно демонстрируемой ими скорби не желают смешиваться с простыми советскими людьми, уже его, – то есть, социализм, – построившими.

И кто знает, а вдруг в те самые минуты, когда Витя Литвинов, «индийский Гость», пел о том, как блуждал по белу свету, какая-нибудь делегация именно из Индии, зайдя в Усыпальницу, затряслась там от нервного озноба, увидев, как кощунственно обращаются в стране победившего социализма с тем, кто по их разумению давно уже должен был быть предан огню погребального костра.

Мне даже и не надо фантазировать, как именно Колмановские работали над этим маленьким шедевром: Сава рассказал, что где-то около часу ночи, перебрав кучу вариантов, Вика «родил» первую строчку. Потом, часа через три, неоднократно подкрепленный кофе и коньяком, перелопатил еще большую кучу, – и выдал вторую. И только под утро, когда ничто тонизирующее уже не бодрило, вдруг пробормотал, прервав храп: «И мумий видел я в гробу... ».

– Ты гений, – перестав храпеть, прокомментировал тиран-редактор Сава. – Спи...

И долго еще команда КВН ВИСИ ассоциировалась с «...мумий видел я в гробу...». А еще с «Пустите меня туда, мне там было хорошо!» – так, по-настоящему весело и находчиво, Толя Шулик «озвучил» эпизод из кинокомедии «Семь стариков и одна девушка». И хотя жюри изо всех сил тянуло минчан в финал, за этот конкурс Леонид Гайдай все же дал нам больше баллов, не смог поступить по-другому.

Встречу мы проиграли, но разрыв был минимален.

Квинтэссенцией того периода моей жизни стала для меня первая одесская «Юморина», которая состоялась через год после того, как Суслов и Лапин сделали попытку нахлобучить заглущку на фонтан народного остроумия, и на которую мы с соавтором были приглашены редакцией одесской молодежной газеты.

То был для меня не просто фестиваль, а вакханалия юмора, его сатурналия... на этом мои знания об античных празднествах заканчиваются, не то перечислял бы и перечислял.

Началось все с того, что в редакции нам вручили «Почетную грамоту», текст которой словно бы подтверждал, что в жизни всегда есть место не только подвигу, но и шутке: грамота была сделана в манере нотариально заверенной расписки и удостоверяла, что Марк Берколайко и Григорий Розенберг заняли по пятнадцать рублей каждый в качестве премии за второе призовое место в конкурсе короткого рассказа.

А закончилось... о! никогда не забуду!

Зал, в котором вот-вот должно начаться заключительное мероприятие «Юморины», переполнен.

Тяжелый бордовый занавес опущен...

Мощные динамики «выдают» исполняемый десятью, не меньше, фанфарами строевой сигнал «Слушайте все!».

Фортиссимо, форте, гранд-форте, форте, от которого закладывает уши – и хочется из зала вон, но не сбежать, а напротив, побежать куда-то, где отдают все силы в борьбе за что-то...

И вдруг динамики словно бы вырубаются...

Зловещая тишина...

Перед занавесом появляется маленький человечек и говорит, слегка картавя:

– Тут только что прозвучали фанфары... я хотел бы добавить несколько слов.

Я присоединился, конечно, к овации зала, но горько мне стало от мысли, что НИЧТО СТОЛЬ ЖЕ ТАЛАНТЛИВОЕ мне никогда не придумать, а, стало быть, с «веселым жанром» надо заканчивать.

Может быть, жаль, что мысль эта довольно скоро стала твердым решением – ведь в конце концов, гениальные сатирические страницы в «Мастере и Маргарите»; великие пьесы Шварца «Тень» и «Дракон»; выдающиеся вещи Горина «Самый правдивый» («Тот самый Мюнхгаузен»), «Дом, который построил Свифт», «О бедном гусаре замолвите слово»; изумительно переливающийся оттенками и нюансами смех Искандера; четверостишия-жемчужинки Губермана появились еще и потому, что тьма талантливого народа, называя себя юмористами, куплетистами, сатириками, комедиографами, авторами, «играли» этих Королей, помогая им обрести Корону; создавали тот гумус, что помогал Гигантам расти до небес.

И быть в такой «свите», быть частицей такого гумуса – не самая плохая участь.

Тем паче, «кавээнство» так до конца из себя и не вытравил, – не зря, наверное, Галина Умывакина, замечательный воронежский поэт, говорила мне, что в любой моей вещи, сколь бы лирична, драматична или даже трагична она ни была, есть две фразы в стиле и на уровне хорошей репризы.

Опять же, вполне может быть, только не зря мой дед, а вослед за ним и я так чтим и чтим Гегеля с этой его просветленной мыслью:

«Все действительное – разумно, все разумное – действительно».

Но вот что еще интересно.

В лучшей моей пьесе «Бруткевич и вечер», написанной в конце 80-х, есть обмен репликами, когда давний знакомый главного героя, распустив перед ним «хвост», сообщает, что у него настолько «все схвачено», что может похоронить любого на любой аллее любого московского кладбища – хоть Ваганьковского, хоть Новодевичьего.

На ехидный же вопрос Бруткевича: «А в Кремлевской стене?» отвечает уверенно: «Запросто! Но с тыльной стороны!».

Многие (в том числе, участники семинара драматургов в Рузе), слыша это, дружно смеялись, лаская неумершее во мне эго репризера, но только сейчас я сообразил, что сочинил тогда всего лишь парафраз сидящей у меня в подкорке шутки Вики и Савы – «... и мумий в-и-и-дел я в гробу-у-у...».

### III. И зазвучали газели Физули

Люблю оперу «Аида» не меньше, чем профессор Преображенский, однако напевать под мелодию знаменитого марша «К берегам священным Нила...» не стану ни в коем случае, помня, что именно там поется дальше:

*К берегам священным Нила  
Боги нам укажут путь.  
Там раздастся клич победы:  
Смерть без пощады Изиды всем врагам!*

Эти четыре строчки чудовищно нелепы даже в сравнении с той привычной, заурядной, так сказать, нелепостью, что отличает переводные оперные тексты – ибо, согласно либретто, поются они в Мемфисе, хором жрецов храма Изиды, расположенного на самом что ни на есть берегу Нила, то есть именно там, куда боги соблаговолят указать путь войску, охотно подпевающему жрецам из-за кулис.

Войску, которому пора не голосить, а шагать, чеканя шаг под бодрый вердиевский марш, вдоль того самого берега, не надеясь при этом ни на богов, ни на жрецов, ни на GPS-навигатор... просто шагать, не отклоняясь в сторону от величавых вод.

Но дело-то в том, что переводчик (а, может быть, и сам либреттист А.Гисланцони) перепутал берега Нила и его истоки, то есть, те водопады в горах Эфиопии, с которых начинается великая река; водопады, почитавшиеся священнородящими и подобными богине Изиде, их найти без хорошей карты и компаса в те времена было действительно нелегко.

Так что напевал бы профессор Преображенский не эту дребедень, а какой-нибудь другой марш, например, тот, которым сопровождалось разоблачение Председателя акустической комиссии, – глядишь, и не затеял бы безумное превращение Шарика в Шарикова.

Но нет же, ему, преобразователю природы, оказались по душе «священные берега», «боги», «клич победы», «смерть без пощады»... все велеречивое и столь нагужное, что впору посоветовать принять слабительное.

А вот Вику и Саву в работе над либретто оперы я не представляю: неряшливость текста – это не для них, точных и изящных в каждой фразе.

Велеречивость – тем более не для них, предпочитающих иронию и то остроумие, которое не порождает ответное «Бру-га-га!!!», но зато и не смахивает на назойливые попытки пощекотать.

Но авторами пьесы для оперетты они были, и я ее, эту пьесу, будучи у них в гостях, пролистывал. С удовольствием бы прочитал внимательно, но не было для этого времени, а теперь об упущенной возможности говорю с искренним сожалением, потому что замыселпоказался мне очень интересным.

Колмановские взялись решать нелегкую задачу: собрать самые известные фрагменты оперетт Кальмана (уж не созвучие ли фамилий их к этому подтолкнуло?) и сделать их не столько иллюстрациями, сколько, в каком-то смысле слова, самостоятельными участниками стремительно развивающегося сюжета, в котором были и незаконные сыновья законных аристократов, и любовная неразбериха, и ссоры-примирения, и встречи-разлуки, и традиционные для жанра пары: лирические он и она, комические он и она, а также непременные старичок и старушка, вздыхающие по поводу ушедшей молодости, однако отплясывающие после этого так, как у немногих молодых получилось бы.

Задача, которую они сами для себя поставили, решена была блестяще: упругие диалоги и стихи, легкие и бодрящие, как токайское, вызывали такой прилив жиз-

нелюбия, что оперетта эта была бы невероятно популярна, найдись тогда, во времена, когда мюзиклы считались гангренозными язвами на теле умирающего западного искусства, композитор, не побоявшийся вступить в соревнование со встроенными в сюжет гениальными мелодиями Кальмана.

Такового не нашлось... впрочем, приступая к работе над пьесой, Колмановские, думаю, и не сомневались, что не найдется – однако задача увлекла, и они ее решили.

Прагматики пожмут плечами: «нашли развлечение: писать в стол!».

Возражу: это смотря в какой стол! Если в тот, на котором побывали прочитанные Викой тысячи томов из собранной им же библиотеки, и ни перед одним из них за рукопись, покоящуюся в одном из ящиков, ему стыдно не было, то трехкратное ура такому «развлечению»!

Братья Колмановские вообще умудрялись и умудряются жить так, чтобы делать только им нравящееся. Вика принципиально не защищал диссертаций, зато так ярко и увлеченно вел в Азербайджанском педагогическом институте русского языка и литературы имени М.Ф.Ахундова (ныне Бакинский славянский университет) курсы по истории русского языка и по славистике, что ректор часто повторял: «У меня много докторов наук, еще больше кандидатов, а Вика Колмановский – только один!».

Еще этот «один» знал несколько искренне нравящихся ему славянских языков. А еще латынь, греческий, английский и азербайджанский.

А еще французский, причем так совершенно, что консультировал Владимира Портнова, когда тот переводил стихи Шарля Бодлера и Поля Верлена, сонеты Жозе-Марии де Эредиа.

А еще увлеченно играл в интернет-чемпионатах «Что? Где? Когда?» и был активным участником «Клуба гусар»; а еще написал веселую книгу «Из записок театрала», в которой есть много забавного, но нет ни единой капли злости, язвительности или желчи, а ведь от пригоршней всего этого не смог в «Театральном романе» удержаться сам Булгаков... да и редко кто из заглянувших за кулисы удержался бы, поскольку любой театр – это место, где недобрые актеры и режиссеры изо всех сил пробуждают в незлых зрителях исключительно добрые чувства.

Но самое главное, Вика с ранней юности, причем удивительно мастеровито с точки зрения техники версификации, писал стихи, и сравнение с благородным вином, которое с каждым следующим годом выдержки обретает новые оттенки вкуса, к тому, что делал в поэзии Виталий Колмановский, применимо идеально. Здесь он тоже оставался верен себе – только когда ему уже было совсем под восемьдесят, поддался уговорам и собрал лучшее в появившуюся уже в Соединенных Штатах книжку. В количестве экземпляров, совсем чуть-чуть превышающем немалое количество друзей, – и дарил, дарил, дарил...

О чем стихи? Так ведь они, любые, всегда о жизни, смерти и любви, даже если ни одно из этих великих существительных ни в одной строчке не встречается... как у Вики, например:

*Был королевской дорогой старинной,  
Но пролетали года...  
Стал Эль Камино улицей длинной,  
Соединил города.  
И за машиной едет машина, –  
Только нажми на педаль, –  
По Эль Камино, по Эль Камино,  
По Эль Камино-Реаль.*

*Можно без риска до Сан-Франциско  
Ехать с комфортом большим...  
Пусть по хайвэю вдвое быстрее,  
Мы никуда не спешим.  
Мчатся седаны и лимузины,  
Катят автобусы вдаль  
По Эль Камино, по Эль Камино,  
По Эль Камино-Реаль.*

*Время дневное – в солнечном зное,  
Ночью – в сиянии фар...  
Очень вальяжный, одноэтажный  
Провинциальный бульвар.  
Банки, харчевни и магазины,  
Пальмы, маслины, миндаль...  
По Эль Камино, по Эль Камино,  
По Эль Камино-Реаль.*

*У светофора встали, но скоро  
С места рванули опять.  
Встречных немного, эта дорога  
Не для того, чтоб гулять.  
В шорохе шинном едут машины,  
Радость везут и печаль...  
По Эль Камино, по Эль Камино,  
По Эль Камино-Реаль.*

*Не прекратится, длится и длится  
Бег вереницы стальной.  
Вывески, лица, даты, границы...  
Миг, и уже за спиной.  
В общем потоке все нам едино,  
Только минувшего жаль.  
По Эль Камино, по Эль Камино,  
По Эль Камино-Реаль.*

Необыкновенно музыкально и щемяще!

Какие там священные берега Нила, кличи победы, смерть без пощады и прочие громыханья? – ведь и жизнь, и смерть, и даже любовь устроены просто: «В общем потоке все нам едино, только минувшего жаль»... успеть бы только улыбнуться той последней улыбкой, которая так удалась Вике Колмановскому, как, впрочем, удавались ему и шутки, и лекции, и стихи, и бдения за письменным столом, и дети, и внуки... все-все-все удавалось на длинной дороге по бакинским улицам – Первой Нагорной, Большой Минаретской, Гимназической, Мариинской, Ольгинской, Чадровой, – а потом через Эль Камино-Реаль.

... Да, необыкновенно музыкальные стихи он писал и вообще был очень музыкален – в отца. Его ближайшим другом стал Чингиз Садыхов, ученик легендарного Гольденвейзера, выдающийся пианист – и протянулись нити приязни между Викой и многими из тех, кто исполнял музыку в ансамбле с волшебником-маэстро: певцами, кеманчистами, нагаристами, джазистами...

Чингиз в 1994 году переселился в Калифорнию, гастролировал в Баку, в городах Америки.

Они с Викой опять стали «соседями» – пусть не в городе, в котором родились, но хотя бы по континенту, побережью, штату... а пережил музыкант поэта ненадолго, всего на три года.

Но что же Сава? – о, весельчак и говорун Сава фонтанировал в беседах с друзьями, с сослуживцами, с просто знакомыми и с понравившимися ему незнакомыми; жизнелюб Сава с неисчерпаемым гостеприимством распахивал двери своего московского дома, встречая и тех, кто «заскочил» в столицу всего на пару дней, и тех, кого дела или заботы приводили надолго.

С такой радостью распахивал, будто в это самое мгновение вспоминал пушкинское: «И я судьбу благословил, когда мой двор уединенный, печальным снегом занесенный твой колокольчик огласил».

Хотя ой как редко Савина квартира была «уединенной»! Оставалось только изумляться, как у Эммы, его жены, хватало времени, сил и благорасположения, чтобы обихаживать этот почти непрерывный поток сменяющихся друг друга гостей; как у Леночки, его дочери, хватало времени и сил помогать матери, блестяще учиться, а потом вместе с друзьями и бывшими сокурсниками работать так неистово, как мало кто в России хотел и хочет работать – и в результате появился знаменитый «Яндекс», одним из основателей и учредителей которого она была.

О, остроллов Сава умел восхищаться, – бесконечно и бескорыстно, – дарованиями друзей, талантом старшего брата, но при этом, редактор и известный сценарист, самому себе в одаренности будто бы и отказывал... но как все же жаль, что лишь после смерти Вики появились две книги стихов и совместно с Леночкой написанная «Ай, Баку, джан, Баку!».

Самые лучшие стихи, – как и положено настоящему мужчине, – он посвятил любимой:

*Я без тебя, как без воздуха мячик.  
Я без тебя, как без всадника кляча.  
Я без тебя – пожилая тетеря.  
Я без тебя – небольшая потеря.  
Я без тебя, как без уха сережка,  
Я без тебя, как без платья застёжка.  
Я без тебя, как берлога без мишки.  
Я без тебя, как обложка без книжки.*

*Я без тебя, как участок без дачи.  
Я без тебя, как игрок без удачи.  
Я без тебя, как без хедера ребе.  
Я без тебя, как беззвездное небо.  
Я без тебя, как гора без вершины.  
Я без тебя – богатырь без былины.  
Я без тебя, как «Владимир» без банта.  
Я без тебя, как поэт без таланта.  
Я без тебя – нерожденное слово.  
Я без тебя, как тарелка без плова.  
Я без тебя, как часы без завода.  
Я без тебя, как толпа без народа.*

*Я без тебя, как полет без мечты.  
Вот почему мне нужна рядом ты.*

... Теплоход, он же ресторан с панорамными окнами, шел по Москва-реке. Набережные и фасады домов сверкали так, что этого количества люксов хватило бы на свечение Млечного Пути и еще нескольких Галактик поменьше; Кремль, ослепляя пряничной яркостью стен и башен, блеском куполов и крестов, старался казаться дружелюбным, однако получалось это у него не вполне – в конце концов, крепость есть крепость.

Сава и мы, его гости, заняли два массивных круглых стола в центре зала. И все вроде бы располагало, только вот подарки были вручены на вчерашнем банкете, тогда же были сказаны рвавшиеся из глубины души слова, тогда же отсмеялись заранее заготовленным шуткам – поэтому, наверное, в этот вечер на реке, в дорогом ресторане, общение сводилось к обмену вежливыми репликами.

Но так было до той минуты, пока «вчерашний юбиляр» не обратился к приехавшему из Баку давнему своему другу, замечательному сценаристу, публицисту, литературному критику Интигаму Касумзаде, который сам себя называет самым худым главным редактором самого толстого в мире литературного журнала.

Издающегося аж с 1923 года, а в 1953-м обретшего имя весомое и обязывающее – «Азербайджан».

И обратился Сава с просьбой весьма неожиданной:

– Интигам, почитай газели Физули!

Саша Грич рассказал мне как-то, что Пастернак, не знавший азербайджанский язык, услышав в кулуарах Первого съезда советских писателей, как Сулейман Рустам читает стихи, написанные в метрике аруз, заплакал – так его потрясла музыка, переданная пусть непонятными, но прекрасными в своем звучании словами.

Может быть (скорее всего! конечно же!), я люблю музыку не так истово, как Пастернак: «... Голоса приближаются: Скрябин. О, куда мне бежать от шагов моего божества!» – но под дивные строки газелей, которые Интигам читал так, как поет исполнитель мугамов баяти-шираз, плакать мне не хотелось. Скорее, чувствовал себя змеей, вырастающей из тесной коробки навстречу зову флейты-чаровницы. Однако, когда Интигам начал переводить, мне от восторга стало зябко.

– Почему? – спрашивал Интигам... или это Физули спрашивал? – Почему после возбуждения, в которое приводит нас молодое вино, непременно наступают минуты, когда становится грустно? Почему дудочка, стараясь развеселить нас своим пением, попутно навеивает и печаль, будто бы мы даже и в разгар веселья не можем забыть о чем-то, безвозвратно ушедшем?

– Да потому, – отвечал Физули... или это все же Интигам отвечал? – что камыш, из которого вырезали дудочку, – высокий, прямой и горделивый, – рос в тишине чистой заводи рядом со своими братьями, а потом его срезали и сделали навсегда одиноким.

– Да потому, – отвечал Физули... или это я сам отвечал? – что хоть виноградины были раздавлены и растоптаны, но воспоминание о матери-лозе из их перебродившей крови не исчезло. И нам передается эта печаль о солнце, согреваемые которым, они зрели; мы испиваем тоску по ясному ночному небу, созвездия на котором висят, как гроздь.

Если бы я писал сценарий для Голливуда, то дальше следовало бы описание того, как посетители ресторана, а еще официанты, а еще повара и поварята, покоренные магией великой поэзии, стягиваются к нашему столу; как высокий, переливчатый, слегка модулирующий голос Интигама вырывается через единственное приоткрытое окно, плывет над Москвой-рекой, словно бы вслушивающейся в гениальные строки и оттого замедляющей свое течение – но я пишу, как было.



А было так, как и должно быть: Интигама слушали лишь сидящие за двумя нашими столами.

Зато Сава, если судить по запрокинутой его голове и закрытым глазам, среди нас не было. Он наверняка стоял, – мысленно или вполне материально, кто знает? – на площади перед мечетью в городе Кербела, в котором Магомед Сулейман оглу, взявший себе псевдоним (тахаллус) Физули, родился и прожил почти всю свою относительно недолгую жизнь; и слушал, наверное, наш Сава, как тот читает свои дивные газели или еще что-нибудь из очередного, уже близкого к завершению «дивана».

Такие чтения случались, – кажется мне или не только кажется, кто знает? – после последнего, вечернего намаза, а потом ценители поэзии еще раз благодарили Аллаха Всемилостивейшего за созданный Им мир, в котором день сменяется ночью, обещающей новый день; в котором высокочтимые поэты наделены сверхъестественным даром сплести самые лучшие слова в единственный узор, безмерно радующий и человека, и небо, и солнце, и луну, и звезды... а, значит, и Его Самого.

И весельчак, говорун, остролов Сава словно был таким, как тогда, в XVI веке... нет, он, без всяких «словно», был таким вознесенным, каким становится, когда вспоминает, например, Фикрета Годжа, стихами которого и общением с которым упивается.

Упивается, ибо чувствует, как живут в стихах замечательного Фикрета и творения великого Физули, и творения великих преемников его, и ростки будущего, которое еще подарят миру те, кто придет после.

А я в этот момент вспомнил одну, быть может, байку, а быть может, и быль. О том, как рав Адин Штейнзальц, выдающийся знаток Торы, переведший Вавилонский Талмуд на современный иврит, английский, русский и испанский, побывал в Китае и вернулся в полном восторге. «Чем вы там занимались?» – спросил его корреспондент какой-то газеты. «О, я имел интереснейшие беседы с учеными, досконально изучившими труды Лао Цзы, Конфуция, Гуньсунь Луня и других выдающихся мыслителей». «О чем вы разговаривали?». «О том, как жили почти три тысячи лет назад». «То есть, как жили наши народы?» – уточнил корреспондент. «Почему народы? – удивился рав Штейнзальц. – Мы сами!».

Кто-то скажет, что никакого отношения к вечеру в плавучем ресторане это не имеет.

И ошибется, ибо нет ничего более близкого!

Ибо тот, кто так глубоко погружается в размышления древних мудрецов, в творения древних поэтов, живет в прошлом гораздо реальнее, нежели в настоящем, а потому лучше других сможет разглядеть те ростки разумного, что станут действительным в будущем.

Действительным и, поверим Гегелю, – разумным!

«Стоп! – возразил я себе, – а смерть?! Нет ничего более действительного, но разве ж она разумна?!»

«Еще как разумна! – вразумил я себя в ту секунду, когда голос Интигама и речь Физули затихли. – Еще как разумна, если переходишь туда, где нет неумолимого времени, если успеваешь улыбнуться той улыбкой, что застыла на губах у Вики».

Той улыбкой, которая будто бы говорит проходящим прощаться:  
– Ну вот, я всё... А вы уж постарайтесь дальше...